

## Серебряный ангел

Впервые она заметила его в шевелящихся лунных изломах воды близ набережной Лиссабона, города, в котором ей мечталось оказаться с тех пор, как однажды, повествуя о великих путешествиях и открытиях, упомянул о нём отец—сам заядлый путешественник. Ангел шевелил полупрозрачными крыльями и улыбался ей младенчески нежной улыбкой. И она улыбалась в ответ. Девушка и ангел... так длилось некоторое время, пока чудесное существо окончательно не растворилось в водных глубинах...

Через два месяца он возник снова—в узорах на морозном окне её квартиры. Теперь он куда-то терпеливо летел среди намороженных кудрявых облаков. Долго-долго. Целых несколько кратких сибирских дней поздней осени. Пока крылатый гость не исчез полностью в облачных узорах на замороженном оконном стекле.

Папу чаще можно было увидеть на телеэкране, чем встретить дома. Его бесчисленные экспедиции всё никак не могли кончиться. Лишь одно правило соблюдалось нерушимо из года в год: первого января все папины дети, в том числе, разумеется, и она, собирались в одном из лучших городских ресторанов на праздничную встречу с отцом. Исполнялись любые детские мечты о новогодних подарках. За столом каждый имел право заказать любое самое экзотическое или дорогое блюдо. Никаких ограничений. словно в волшебной сказке...

Она давно выросла. Окончила университет. Работала в крепкой туристической фирме, в той сфере, которая лично ей нравилась всегда. Но новогодних папиных подарков и встреч ждала по-прежнему с детским ощущением чуда.

Незадолго до Нового года её осенило насчёт папиного подарка: это должен быть серебряный ангел-хранитель. Тот самый, который уже являлся ей дважды. Теперь он должен явиться в третий раз и остаться с ней навсегда, чтобы оберегать её всюду в странствиях земных, морских и небесных. Она сообщила о своём желании папе по Интернету. И он заказал дочери ангела, но его не успели доставить к первому января. А следующие семь дней страна традиционно не работала...

Наступил восьмой день нового года. Отец был уже далеко от её города. Он готовился к новым северным маршрутам, складывал необходимые вещи в своём временном пристанище, когда вдруг неудержимо захотел спать и ненадолго прилёг на диван. Сон длился не долее часа. Без сновидений—словно глубокий провал в никуда. Очнувшись, он не сразу сообразил, что именно изменилось. Попытался встать. Не получилось. Не слушалась правая нога. Попытался взять в руку телефон. Но правая рука так и осталась лежать на месте, словно мёртвая. Попытался возмутиться, но вместо слов из его горла вырвалось одно лишь натужное мычание. За следующие полчаса ему удалось добраться до входной двери, невероятным усилием воли одолев пять или шесть метров, и отпереть её левой рукой. Затем он позвонил товарищу. И тот сразу догадался зайти к нему, почуввав неладное.

На его счастье, скорая явилась почти моментально. Замерили давление, поставили капельницу, дали лекарство и начали спускать по подъезду к медицинскому реанимобиле. И тут раздался звонок телефона, с которым он теперь не расставался ни на миг, удерживая его левой здоровой ладонью. Звонила дочь. В её громком взволнованном голосе было такое несомненное счастье, каким оно бывает только у детей, встретивших Деда Мороза с мешком волшебных подарков. Только что курьерская почта доставила ей серебряного ангела-хранителя—новогодний подарок отца. Из телефонной трубки нескончаемым потоком звучали слова благодарности, восхищения и дочерней любви. Большого занесли в автомобиль. Машина направилась к больнице. А он всё продолжал лёжа разглядывать присланную дочкой фотографию чуда—серебряной подвески-ангела, хранящего отныне его живое сокровище...

## Семь роз

Однажды на Крайнем Севере, в середине лета, а точнее, в день моего рождения, друзья подарили мне семь высоких голландских роз, как обычно, напичканных химией для того, чтобы им простоять до следующего после продажи дня и умереть, как говорится, «с чувством исполненного долга». Розы были столь прекрасны, что хотя я и понимал,

какая участь ожидает их в ближайшее время, но мысленно всё же взмолился, обращаясь к Тому, Кто Может Всё, с просьбой продлить жизнь хотя бы на сколько-нибудь семи моим красавицам. И чудо случилось: розы не завяли, а засохли — примерно через неделю, но рядом с засохшими веточками появились новые, более мелкие с изящными молоденькими листочками.

А через месяц все семь роз расцвели снова. На этот раз распустились не семь, а несколько десятков небольших пылающих бутончиков. Наступила осень. Грянула зима. Но розы продолжали цвести. Одни бутоны сменялись другими.

Наступило время моего отпуска. Время, которое я посвящаю родным и семье. Мне нужно было ехать на юг, чтобы навесить маму. Уезжая, я попросил коллег по работе присматривать за моими розами. Они старались. Но напрасно. Когда я вернулся, то увидел, что из всех семи роз живой осталась только одна веточка с единственным ярким бутончиком, а все прочие — умерли. . . Десять дней и ночей я отчаянно боролся за жизнь своего последнего цветка. Но всё было напрасно. Одинокая розочка умерла, так и не пожелав оставить своих подруг.

Прошло несколько лет, но каждый раз в день своего рождения, едва проснувшись, я невольно бросаю взгляд в сторону пустого подоконника, словно всё ещё надеюсь на чудо. . .

## Хорошее мнение

Не следует огорчаться тому, что не у всех о вас хорошее мнение. Это неизбежно, ибо если у негодяев о вас плохое мнение, то за вас можно только порадоваться, а если — хорошее, то пора задуматься: всё ли с вами в порядке? Хорошее мнение о вас у кого-то или плохое — мне лично всё равно, потому что у меня есть своё, если я о вас знаю, или нет никакого, если мы незнакомы. . . Всё относительно — и хорошее, и плохое. Всё сущее имеет тень. . . И если вы удаляетесь от света, ваша тень бежит впереди, указывая путь во тьму. Если стоите перед светом, тень прячется за вашей спиной. Если идёте к свету, тень нехотя волочится позади вас. А если источник света находится прямо над вами, тень исчезает. У света нет тени.

Будьте источником света.

## Война кончилась

Война закончилась за пятнадцать лет до моего рождения. Естественно, что ни я, ни мои младшие сестры её не видели. Мы читали повести, рассказы и стихи о ней, ходили с родителями на парады Победы, смотрели художественные и документальные фильмы. Но нам повезло: всё, что мы знаем о войне, нам не довелось испытать на себе. Видеть на экране и читать в книге — это совсем другое. Ты ведь знаешь, что, как бы ты ни

переживал описываемое или показываемое, на сам деле всего этого сейчас уже нет. На самом страшном месте книжку можно закрыть, а телевизор — выключить. И всё. И нет никакой войны.

Во дворе я играл с ребятами в войну. Тогда во всех дворах можно было увидеть, как мальчишки бегали с вырезанными из досок «автоматами», а то и просто палками, в «атаки», кричали «ура» и в итоге всегда побеждали всех «врагов». Ими назначались такие же мальчишки, но помладше, потому что «пленными немцами» добровольно не хотел быть никто.

Я любил фильмы про войну, такие как «Отец солдата», «Баллада о солдате», «Подвиг разведчика», «Два бойца», «Жди меня» и другие. Тогда было много хороших фильмов, в том числе и документальных. Вместе с нами их смотрела мама. Однажды я заметил, что в определённые моменты просмотра она вдруг исчезает из комнаты. Поскольку это повторялось постоянно, я обратил внимание на эти моменты из фильмов. Они были разными, но общим в них было одно: с жутким воем пикирующие немецкие бомбардировщики. Как только возникал этот звук, иногда даже без показа самих самолётов, мама буквально испарялась из помещения. Долгое время это оставалось загадкой для меня.

. . . Когда началась война, моя мама была пятилетним ребёнком и ни в каких сражениях, естественно, не участвовала. Но она, как и её старшие сёстры и моя бабушка, оказалась тогда в особом месте — в блокадном Ленинграде. В её детской памяти запечатлелись от той войны на всю оставшуюся жизнь два момента: ощущение вечного, непрекращающегося голода и этот невообразимо страшный вой пикирующих самолётов.

Много раз она пыталась рассказать об этом и не могла, потому что вспомнить было невыносимо.

В сорок втором году семью мамы эвакуировали. Во время переправы через Ладожское озеро их в упор расстреливали с самолётов. Представьте себе: маленькая, худенькая русоволосая девочка с большими глазами, какой я видел её на единственной сохранившейся довоенной ленинградской фотографии, и огромные, пикирующие на неё с воем и стрельбой фашистские самолёты. Каково было этому ребёнку? Какой безумный ужас пережила её детская душа в те мгновения? С чем это сравнить? Не знаю. Не с чем. Мама помнит, как моя бабушка обняла плачущих дочек, накрыла их собой и начала молиться о том, чтобы их убили вместе, чтобы не оставляли страдать никого. . .

Прошло много лет. Очень много. Моя старенькая мама ещё жива. Но всякий раз, когда где-нибудь случайно она слышит тот самый знакомый ужасный звук, она прячется. Да, прячется ото всех, и нужно бежать скорее за ней, найти, обнять и сказать тому плачущему ребёнку с морщинистыми

старческими руками: «Мама! Война кончилась, мама! Кончилась война...»

## Харам

Однажды мои стихи спасли меня от рабства, а может быть, и сохранили жизнь... Это было очень давно, в предгорьях Памира, в Таджикистане, где только что отгремела гражданская война. Я случайно оказался в руках вооружённых моджахедов, собиравшихся перейти реку Пяндж и доставить контрабандные товары в Афганистан. Они чрезвычайно обрадовались своей удаче в моём лице.

Их переводчик объяснил мне, что меня собираются завернуть в ковёр и перевезти через Московскую погранзаставу на реке Пяндж, чтобы выгодно продать в рабство в Кандагаре. Что я мог? Ничего. От безысходности и отчаяния я начал читать свои стихи. На русском, разумеется. Конечно, они, кроме переводчика, не понимали ни слова. Но догадались, что это не обычная речь. Переводчик спросил меня, чьи это стихи, и я ответил, что мои. Следом всё вдруг изменилось в их поведении. Меня в итоге отпустили, да не просто отпустили, а прежде того расстелили передо мной дастархан (подобие скатерти-самобранки, расстилаемой на полу) с пловом, чаем и восточными яствами. И проводили как уважаемого человека до того дома, где я перед этим находился...

Долгое, очень долгое время я не мог ни понять, ни объяснить себе столь странного изменения в поведении моих «тюремщиков». Пока не обнаружил аналогичный случай, изучая историю жизни Лермонтова на Кавказе. Говорят, на Востоке, в горах, легенды живут долго. Гораздо дольше людей. Всем известно, что Лермонтова сослали на Кавказ за правдивые, обжигающие душу строки стихов о смерти Пушкина. Его отправили на войну с горцами, надеясь, что живым с войны он уже не вернётся. И Лермонтов тоже понимал, для чего его отправляют. Но он был не из тех, кто кланяется пулям в бою или прячется за спины солдат, он и в сражении оставался самим собой, втайне полагая, что однажды его действительно убьёт меткий противник. Может быть, поэтому у него — столько печальных стихов о неизбежной смерти в бою. Лермонтов был фаталистом.

Перед боем он надевал красную рубашку и, как фаталист, искал смерти. Но каким-то образом горцам заранее стало известно, кто перед ними. Врага на Востоке ненавидят, но поэтов чтят за их живое слово, за голос народа, звучащий в их голосах, чтят в особенности тех, кто пострадал за правду. Лермонтов бросался в самую гущу боя и, конечно, не подозревал, что в это самое время командиры горских отрядов кричали своим стрелкам: «Видите вон того русского офицера в ярко-красной рубашке? Того, кто впереди, на виду? Не стреляйте в него. Это — поэт! Харам!» — кричали

они своим бойцам, и те намеренно стреляли мимо Лермонтова. «Харам» — означает «табу», «запрет», смертный грех перед Богом. В представлении горцев Лермонтов был ашугом, так называли на Кавказе странствующих поэтов и менестрелей. Ни одна пуля так и не задела Михаила Юрьевича ни в одном сражении, ни в одной стычке. Поэтов на Востоке не убивают, даже во время войны. Этот мудрый восточный обычай, вероятно, сохранился до нашего времени у некоторых афганских племён: ни при каких обстоятельствах нельзя трогать дервишей и поэтов, ибо Аллах накажет. Именно это правило и спасло меня при встрече с отрядом моджахедов. Поэтов трогать нельзя. Харам!

Кстати, именно это слово повторял своим учителям перед смертью Муаммар Каддафи. Но это не возымело на них никакого действия. То ли в Ливии было уже иное время и прежние обычаи порядком забылись, то ли Каддафи не признали поэтом...

## Тишина

У них была большая дружная советская семья, где всё внутреннее, семейное держалось на материнских плечах, поскольку отец вечно был занят своей важной государственной работой и широкой общественной деятельностью. А в доме фактической хозяйкой являлась мама, которая, впрочем, никогда этого не показывала, тем более в присутствии мужа. Она была мудрой женщиной. Со взрослыми. Детям же доставалась вся её нерастраченная нежность. Особенно младшенькому сыночку. Красавчику и живчику. Не только она, но и его старшие сёстры и братья всячески баловали мальчишечку, не знавшего отказа ни в чём.

Поскольку семья была большая, а папа — крупный государственный человек, в доме в папином кабинете стоял на столе телефон, а второй — параллельный — висел в коридоре возле двери. Днём в квартиру приходила специальная домработница Нюра, много лет помогавшая маме по хозяйству. Нюра так свыклась со всеми в доме, что ощущала себя практически членом этой семьи. Другой у неё и не было...

Однажды в южном приморском городе, куда вся семья приехала отдохнуть в санатории вместе с отцом, папа решил посетить местный рынок. Дружное семейство перемещалось вслед за папой, безотказно, как Дед Мороз, покупавшим детям всё, что они пожелают. Когда руки у всех уже основательно отяжелели от фруктов и ягод и папа уже искал взглядом дорогу к выходу с рынка, младший сынок заметил прилавок с ярко-красным кизилом. Он подбежал к прилавку и начал визжать, требуя немедля отдать ему все эти красные красивые плоды. Для папы такое сыновнее поведение стало неприятной неожиданностью. С каменным лицом он подошёл к ребёнку, попытался взять

его за руку и увести: всё, на сегодня хватит, надо слушаться старших. Однако ребёнок, истерично крича, вырвался, упал навзничь и начал кататься по земле. Отец от неожиданности застыл на несколько мгновений, затем сгрёб сына и быстрыми крупными шагами направился к поджидавшему их автомобилю. Ребёнок продолжал визжать и брыкаться. Дома папа вынул ремень из брюк и выпорол сына...

Прошло очень много лет. Дети выросли, завели свои семьи, разлетелись по другим городам. Мама, увы, умерла. Отец и приходящая домработница Нюра остались единственными людьми, оживлявшими пустую огромную квартиру с высокими потолками. Отцу шёл уже девятый десяток, младшему сыну — пятый. Уже дети младшего сына сделали его, известного на всю страну учёного-биофизика, молодым дедушкой.

Он прилетел в город на крупную международную конференцию. Вечером, поселившись в отеле, позвонил старенькому отцу и договорился о встрече. Но случилось так, что на следующий день светило биофизики почувствовал себя плохо. Врачи определили у него... детскую болезнь — корь. Ему предложили госпитализацию, однако он помнил о намеченной встрече с отцом, созвонился, чтобы извиниться, и услышал его предложение: не ложиться в больницу, а отлежаться у него, поскольку места для «карантина» в квартире предостаточно, а добросовестный уход папа и домработница Нюра, безусловно, гарантируют. И сын согласился.

Это были удивительные дни, когда престарелый папа ухаживал за своим сыном. Они часами общались обо всём на свете, чего раньше не случалось никогда. Папа, опираясь на трость, степенно ходил в ближайшую аптеку за лекарствами для взрослого сына. На ночь он даже отключал телефон, чтобы ничто не тревожило сна его выздоравливающего пациента. Им было хорошо вдвоём, поэтому Нюра заходила ненадолго. Лишь раз, когда во время разговора сын спросил его: «А ты помнишь, как выпорол меня однажды?» — отец с отсутствующим взглядом ответил: «Не помню», — и вышел из комнаты...

Сын выздоравливал. Неумолимо приближалось время расставания. Оба избегали разговора об этом. Но однажды наступило утро, когда сыну надо было уезжать. Он собрал вещи, вышел в коридор и услышал громкий разговор, доносившийся из кабинета отца.

Заглянув в кабинет, он увидел отца, беседующего с кем-то по телефону, и стал показывать знаками, что уезжает и надо бы попрощаться. Отец кивнул ему и помахал свободной рукой, продолжая разговаривать. Сын подождал. И повторил знаками то же самое. Отец опять кивнул и помахал рукой. Раздосадованный сын вышел. Ему было и обидно,

и больно. В коридоре у выхода он не выдержал и поднял трубку параллельного телефона, чтобы понять: чья же беседа оказалась для отца дорожкой и важнее прощания с ним?

Приложив трубку к уху, он застыл в изумлении, не в силах положить её обратно, только теперь понимая всё... В трубке стояла глубокая, нестерпимо долгая, мучительная тишина. Аппарат не был подключён к связи.

## Нинико

Забавно, когда человек трижды моложе тебя увлечённо рассказывает о чём-то, особенно недавно ты это уже не раз слышал, причём очень недавно. Худенькая, небольшого росточка девчушка приглашает прохожих, гуляющих по набережной возле моста, на прогулку по реке. А я особо и не возражаю: поехали! Рукой, сжимающей рекламный проспект, она, тараторя на ходу, приглашает следовать за собой, и мы с ней пересекаем реку по мосту.

Возле пристани на скамейке сидит круглолицый розовощёкий плотненький паренёк. Предлагает взять с собой на катер вина. Оно тут же, перед ним, в кувшинах на столике не первой свежести. Рядом — поднос с ячеечками для стаканчиков и сами пластиковые небольшие стаканчики. Жарко. Вечереет, но солнце ещё высоко. Соглашаюсь на вино, но прошу девчушку добавить к винным стаканчики с водой. А воды нет. Есть только вино. Девушка вопросительно смотрит на меня. Я настаиваю. Паренёк слышит меня, вскакивает и бежит к пожилому мужчине через дорогу за водой. Вскоре он возвращается с прохладным запотевшим стеклянным кувшином, в котором плещется вода. И передаёт его девушке, скороговоркой, словно дразняя, повторяя её имя: «НиникоНиникоНинико!».» Странная улица: с одной стороны вино, с другой — вода...

Нина смущается, опуская взгляд, и, кажется, краснеет. Её смущение действует на розовощёкого Гио как красная тряпка на быка. Он распялется и уже почти вопит на всю улицу: «НиникоНиникоНинико!!!» Внешне она — почти ребёнок, и лишь приглядевшись, понимаю, что скромница в сереньком платъице с по-школьному гладко зачёсанными к затылку волосами, скорее всего, учится в местном университете, а у моста подрабатывает вечерами на желании таких же заезжих туристов, как я, прокатиться по Куре. Да, чуть не забыл: мы на набережной в центре Тбилиси.

Подъезжает (чуть не сказал «подскакивает») речной катерок. Рыжий кудрявый подросток сжимает руль и вопросительно посматривает на берег. Нинико с подносом в пластиковых стаканчиках с вином и водой аккуратно перешагивает с берега в покачивающуюся и подрагивающую от нетерпения посудинку. Мотор набирает обороты. Берега

отплыли от нас. И вот мы уже на середине реки, а над нами — тот самый мост. Ажурное творение итальянца Микеле де Лукки — пешеходный мост Мира, соединяющий улицу Ираклия 11 с парком Рике. Покрытый голубоватым стеклом, он находится между Метехским мостом и мостом Бараташвили. Как раз об этом и рассказывает мне сейчас Нина. Заслышав фамилию «Бараташвили», вглядываюсь в небо сквозь голубоватый стеклянный купол над мостом и невольно вспоминаю гениальные стихи грузинского поэта в вольном переложении Бориса Пастернака:

Цвет небесный, синий цвет,  
Полюбил я с малых лет.  
В детстве он мне означал  
Синеву иных начал.  
И теперь, когда достиг  
Я вершины дней своих,  
В жертву остальным цветам  
Голубого не отдам.  
Он прекрасен без прикрас.  
Это цвет любимых глаз.  
Это взгляд бездонный твой,  
Напоённый синевою.  
Это цвет моей мечты.  
Это краска высоты.  
В этот голубой раствор  
Погружён земной простор.  
Это лёгкий переход  
В неизвестность от забот  
И от плачущих родных  
На похоронах моих.  
Это синий негустой  
Иней над моей плитой.  
Это сизый зимний дым  
Мглы над именем моим...

А наш катерок, ведомый рыжим Авто (так представился мне наш юный речной капитан — Авто, то есть если целиком, то Автандил), уже приближался к Метехскому мосту, сразу за которым высоко над обрывистым берегом высился памятник царю Вахтангу Горгасали, восседающему на мощном гигантском коне. А за спиной его — Метехская церковь тринадцатого века. Нина с явным удивлением повествует мне о подвигах святого грузинского царя, правившего здесь в незапамятные времена — в пятом и начале шестого веках, когда ещё не было никакого Тбилиси, а вокруг Куры стояли широкошумные леса с обильной дичью. Здесь однажды, охотясь, царь Иберии набрёл на тёплые целебные источники, которые и дали название будущей столице Грузии.

Мы поворачиваем влево вслед за рекой. Над изумрудными волнами то парят, то садятся на воду чайки! Слева — уходящая вдаль каменная стена первозданного скалистого берега, увенчанная сверху непрерывной чередой зданий с балконами

и балкончиками, нависающими над рекой, словно гроздь ласточкиных гнёзд. А позади — фантастический вид на гору с медленно опускающимся к ней палищим солнцем. На горе старинная мощная крепостная стена с башнями — крепость Нарикала. Время её основания точно никому неизвестно, однако, говорят, уже в четвёртом веке на этом месте стояла крепость Шурис-Цихе. Цитадель обрела современные очертания в семнадцатом-восемнадцатом веках, но, увы, как горестно продолжает рассказывать мне Нинико, сильно пострадала от взрыва порохового склада в 1827 году. А то она была бы ещё красивей. Хотя лично мне кажется, что и в нынешнем состоянии Нарикала просто неотразима. Особенно — на закате.

Странное ощущение: пустынная стихия зеленатовой куриной речной воды и буквально рядом — шумный, смеющийся крышами город. И сухощавый подросток (это внешне, а на самом деле, наверное, всё-таки старше) Авто, в шортах, разлапистых сандалиях и коротенькой рубашонке, лихо управляющий рулём. И щебечущая воровушкой Нинико, которую я иной раз почти и не слышу из-за шума мотора и прохладного встречного ветра при ослепительном солнце... Мы возвращаемся. С берега уже доносится друшавливое звонкоголосое торжествующее «НиникоНиникоНинико! НиникоНиникоНинико! НиникоНиникоНинико!»

Я счастлив.

## Три поросёнка

Если вы спросите меня, случилась ли вся эта история на самом деле, я вам не отвечу. Может быть, именно так всё и было. А может быть, и не совсем так. А может быть, и совсем не так. Ведь каждый помнит по-своему и своё. Но то, что мой рассказ родился не на пустом месте, — наверное, очевидно каждому.

Давным-давно в одном южном городе Советского Союза жил-был очень дружный школьный класс. Восьмой «В». Ровно сорок человек — мальчиков и девочек. Они знали друг друга и друг о друге всё или почти всё, потому что почти все учились вместе с первого класса, да и жили рядом со школой. Помимо уроков, многие участвовали в школьном хоре, играли в гандбол в одной команде, маршировали строем в военной игре «Зарница», собирали металлолом и макулатуру, как примерные пионеры. И с уроков на «шталу» в кино сбегали тоже все вместе. Никто не отставал.

Так было до восьмого класса, так же происходило и в восьмом. Школа являлась обычной десятилеткой, в которую приходили в семь лет. То есть каждому из одноклассников в ту пору было примерно пятнадцать. Изменилось в восьмом только одно: в школе появился новый учитель математики. Молодой. Интеллигентный. Выпускник

университета. Атлетически сложенный. В роговых очках. С неисчерпаемым багажом знаний буквально обо всём. Умеющий рассказывать так увлекательно, как не способен был никто из педагогов. Харизматичная личность, как сказали бы сейчас, но тогда таких слов не знали. Половина старшеклассниц школы тут же влюбилась в него, а мальчишки слушали его на уроках так, как слушают мудрого гуру где-нибудь в Тибете. Юрий Гаврилович. Он свободно владел французским, немецким, итальянским и английским языками. Прекрасно разбирался в истории, географии и литературе. Знал наизусть массу стихов в оригинале и переводе. Некоторое время спустя вокруг него образовалось нечто вроде общества любителей всех гуманитарных дисциплин. И поскольку на всё это школьного времени никак не хватало, Юрий Гаврилович стал приглашать наиболее увлечённых учеников к себе домой. Разумеется, с разрешения их родителей. Таких ребят оказалось трое. Все — мальчики с одного класса, восьмого «В».

Дома его рассказы были такими же интересными, как и в школе, но более специфичными. Он рассказывал детям о Великой французской революции, о её деятелях — Марате, Дантоне, Робеспьере. Прекрасно декламировал стихи о революции, о свободе, равенстве и братстве. Мальчикам запомнилось, как однажды он поставил для них пластинку с «Марсельезой» и подхватил эту песню на французском вместе с голосом певца. Учитель с искренним возмущением и скорбью говорил о том, как высокие идеалы революции со временем подменяются обывательщиной населения и фарисейством руководства на всех уровнях власти. Ребята слушали его, затаив дыхание.

Уходили мальчишки домой вместе. По дороге и поздно в классе, а по выходным — встретившись во дворе возле школы, они горячо обсуждали услышанное от молодого учителя, уже сами находя примеры вранья взрослых, замеченные ими самими, подхалимства и взяточничества, услышанные от родителей, обсуждавших дома на кухнях то, что нередко случалось у каждого из них на работе или в быту. Но если в семьях всё заканчивалось обычными «кухонными» разговорами, то для их юных романтически настроенных головешек этого казалось совершенно недостаточно. Им хотелось каким-то образом выразить свой протест так, чтобы все вокруг поняли: не все согласны с подобным положением, существует реальное сопротивление всеобщему злу, каждый имеет право на свои убеждения. Короче: «Да здравствует свобода!»

Как раз в это время город готовился к приезду первого лица государства — Генерального секретаря ЦК КПСС, увешавшего себя в тот период уже тремя Звёздами Героя всего-всего наигероического. Огромные портреты Брежнева с тремя Звёздами на груди были размещены местным руководством

по всему городу, в том числе и по предполагаемому пути следования правительственного кортежа.

В горячих юных головах созрел дерзкий и детский наивный план, которым они поделились со своим идейным «вождём» — Юрием Гавриловичем. Тот восхитился дерзостью и простотой плана, но предостерег ребят от реальных действий, из-за которых у них могут быть неприятности. И тут подростки впервые возразили ему, так им стало обидно отказываться от задуманного. Возник спор, который, впрочем, никого не переубедил. И ребята ушли, поскольку приезд генсека ожидался на следующий день, и если действовать, то действовать нужно было именно в эту ночь... Мальчишки подготовили целую пачку листовок формата А4 для расклейки по городу. Слова на листовках были написаны от руки: «Да здравствует Свобода!» Листовки ночью были расклеены. Но главным было не это. «Изыюминку» протеста жители города заметили, когда рассвело. На одном из самых крупных плакатов с изображением генсека, расположенном на автотрассе, по которой ожидался проезд высокого гостя, на месте трёх золотых Звёзд Героя красовались фигуры трёх грязных поросят... КГБ пришлось за работу. Конечно, генсек ничего такого не увидел. Во-первых, потому что прибыл на сутки позже. Во-вторых, плакат довольно быстро заменили, но жители города всё-таки успели им «полюбоваться» и веселились от души.

Часам к одиннадцати утра в школу, где училась тройка свободолюбивых подростков, прибыли сотрудники госбезопасности. Они знали всё. Бледная от страха, трясущаяся директриса Ида Львовна немедленно собрала всех педагогов школы и в присутствии кагэбистов, с их разрешения, рассказала им о случившейся истории, позорящей всю школу, после чего слёзно попросила работников карающих органов дать школе последний шанс продемонстрировать глубокую сознательность своих учеников, их приверженность принципам социалистического сознания... и так далее и тому подобное. План директрисы был и суров, и прост, и по её мнению, справедлив... Госбезопасники в целях воспитания в детях приверженности к социалистическим ценностям любезно согласились подождать конца придуманного Идушкой Львовной «спектакля».

Вскоре весь восьмой «В» был выстроен во внутреннем школьном дворе, закрытом от сторонних глаз с трёх сторон (с четвёртой двор закрывала высокая тенистая изгородь). Ребят и девочек расставили по восемь человек в пять рядов так, чтобы между каждым из них было расстояние примерно в один метр. Директриса приказала детям стоять по стойке «смирно», как бывало (правда, в общем строю, не отдельно) на тренировках к строевому маршу в «Зарнице», до тех пор, пока кто-нибудь из них не сообщит имена трёх «бунтовщиков»

и учителя, который их вдохновил на «позор всей школе». Она не посмела даже сообщить классу о том, что же произошло прошлой ночью, но была уверена, что кто-то из детей об этом непременно уже знает. Она не ошибалась в этом. Если не все, то многие знали. Она ошиблась в другом...

Прошло полчаса, миновал час. Никто из детей не пошевелился и не издал ни звука. Наконец одна из девочек потеряла сознание. Её унесли. Завуч Екатерина Теодоровна с грубым солдафонским голосом и мужскими кулачищами продолжала следить за остальными. Прошло четыре часа. Продолжавших стоять на школьном дворе осталось на ногах меньше половины, когда кагэбистам надоел «весь этот театр» и они молча забрали с собой «бунтовщиков»... Никто из троих мальчиков не выдал учителя.

Класс расформировали. Детей разместили по другим школам. С родителей юных «бунтарей» взяли подписки об ответственности за поведение и воспитание и, разумеется, о неразглашении. Дети, все трое, были несовершеннолетними, иначе им их поведение обошлось бы гораздо дороже. Юрий Гаврилович за всей экзекуцией над восьмым «В» классом наблюдал в окно, поглядывая из-за занавесочки. Он сильно переживал, но не смог заставить себя выйти к своим воспитанникам, поскольку его мучила совесть: это он предал их и написал донос в КГБ вечером после ухода детей. Потому их сразу и «нашли». В своём предательстве учитель признался мне позже. Гораздо позже. Через много-много лет... в письме. Издалека. Наверное, ему от этого стало легче.

А у меня перед глазами до сих пор та ужасная и в то же время потрясающая картина: дети, одиноко стоящие на плацу, не выдавшие никого. Их родители были разных наций, ныне нередко враждующих между собой, разных вероисповеданий, разного социального уровня: обеспеченные и не очень, рабочие и врачи, музыканты и вчерашние сельские жители... Всем им низкий до земли поклон, они правильно воспитали детей: никого нельзя предавать. Даже если очень страшно.

## Бабочка

В пятницу духота продолжалась. Окна открыты настежь—надежда на сквознячок. За полярным кругом вентиляторами не принято запасаться. С улицы несёт гарью лесных пожаров. У нас здесь лесов нет: чахлое редколесье в речных долинах и возле—не в счёт, большая часть окрестных земель—заболоченная тундра с одинокими низкорослыми деревцами и кустами. А то и без них. По радио в новостях передали, что в течение трёх ближайших августовских ночей в разных уголках планеты можно будет наблюдать уникальный метеоритный дождь: тысячи звёзд упадут на землю, и самый сильный звездопад случится завтра в ночь.

Усмехнулся: какие звездопады? Дымчато-серое небо сплошь покрыто облаками. Ни единого прогала. К вечеру стало заметно прохладнее и сырее. Заморосил, зашуршал еле слышно мелкий дождичек.

За окнами шипит невидимый мокрый асфальт под колёсами автомобилей. Падают отдельные дождевые капли с карниза. А это что за шорох—непонятный, громкий и совсем рядом? Вроде и не на улице, а в соседней комнате. Заглянул туда и обомлел: бабочка! Большая, красивая, яркая. С густо-оранжево-коричневыми крыльями в чёрных и редких белых пятнышках, с чёрно-белой, мелкими зубчиками, каймой по всему периметру. Машет ими часто-часто, то прижимаясь к плоскости оконного стекла, то зависая в уголке рамы. Что за чудо! За три лета на Севере нигде ни разу не видел бабочек. Комаров, мух, оводов, ос, мошки—видимо-невидимо насмотрелся, но бабочек—не доводилось. А тут—нате, сама в дом залетела. Да такая нарядная и крупная. «Окна открыты, улететь ей несложно»,—подумал я и поспешил за фотоаппаратом: хоть сфотографировать на память, не то после сам себе не поверю, решу, что приснилось.

Вернулся: нет, не улетела ещё. Чтобы фотография получилась чётче, приблизил руки с фотоаппаратом к бабочке. Она испугалась, замаха крылышками ещё чаще. Никак снимок не получается. Взмолился мысленно: «Да не бойся ты меня! Не трону. Замри, пожалуйста!» И вдруг, словно услышала, замерла на месте. Снимок получился, и я ушёл, довольный, на кухню—готовить ужин. Потом, как обычно, сидел допоздна в Интернете и незаметно уснул.

В субботу с утра стало ясно, что дождь не прекращался, усилился ветер. Проснувшись от холода, я решил, что давно пора закрывать все окна. Честно сказать, и не думал о бабочке. Просто зашёл в ту же комнату и... обнаружил её на месте. Не улетела. И правильно: на улице зябко, в квартире гораздо комфортнее. Она вновь запорхала вертикально по стеклу, но не испуганно, а как бы приветствуя меня. Я невольно улыбнулся. Привет, привет! Не хочешь ли ты сказать, что решила поселиться у меня? Вот и ладно. Живи сколько хочешь. Я тебя не гоню.

День был выходной, и потому я занялся всякими личными делами: то ходил в магазин, то подметал и пылесосил полы, то стирал и гладил рубашки, ну и в Интернет опять-таки зашёл. Потом на меня снизошло очередное вдохновение, и я начал записывать что-то очень важное для себя на тот момент. Забылся и вдруг почувствовал чьё-то присутствие совсем рядом. Кто это? Начал озираться и заметил краем глаза... бабочку на своём плече. Она сидела спокойно, чуть покачивая раскрытыми крыльями. Я затаил дыхание. Надо же, какие нежности! Так продолжалось некоторое время. Затем я не сдержался, шумно выдохнул. И бабочка улетела в свою комнату.

Нет, она больше не появлялась возле меня, но продолжала скромно сидеть там, у себя, на краю окна. Прошла суббота. Дождь, мелкий, моросящийся, продолжался. В воскресенье утром бабочка приветствовала меня так же, как вчера. Я уже как-то привык к её сосуществованию рядом со мной. Словно так и было всегда. На следующее утро, в понедельник, внезапно подумал: а ведь её бы надо кормить! Но чем? Кормят обычно собачек, кошечек, этих понятно чем. Только вот бабочки не едят такую пищу. Чем же её угостить? Решил обратиться к друзьям через Интернет с этим вопросом. Задал его и ушёл на работу. Зябкий, промозглый, скучный день.

Поведал коллегам о бабочке. Все удивились. Одна женщина заявила, что за свои двадцать девять рабочих лет, проведённых здесь, на Севере, никаких таких бабочек сроду не видела. Оленей — да, песцов — да, мух — навалом, а чтобы бабочек... Я показал фотографию. Некоторые отнеслись и к ней с недоверием. Однако новость не осталась незамеченной. Коллега из соседнего отдела сообщил следующее: обычно бабочки питаются нектаром цветов и соком перезревших фруктов. Ну да, об этом и я догадывался. Но дома может и не быть нектара, а держать в квартире гнилые фрукты что-то не очень хочется. Оказывается, нужно развести пару чайных ложечек сахара или мёда на половину стакана с водой. Чтобы бабочка догадалась, что это — еда, ей нужно дать попробовать приготовленное на вкус. Для этого необходимо острой тонкой иголкой или зубочисткой раскрутить бабочке хоботок и окунуть его кончик в сладкий раствор, после чего бабочка успокоится и начнёт питаться. Желательно подкармливать её раз в сутки, тогда она дольше проживёт...

Где там у неё хоботок и как всё это сделать, не повредив ей ничего, ума не приложу, но моя бабочка не ела уже три дня! Кое-как дождавшись обеденного перерыва, я помчался домой. Мёд у меня был, поэтому я сразу направился на кухню, развёл его в воде, налил медовую воду в блюдце и вошёл с ним в комнату к бабочке.

В комнате было тихо. Ничто не шуршало. На краю подоконника лежало нечто маленькое, хрупкое и тёмное. Я подошёл, поставил блюдце. Моя бабочка лежала на боку со сложенными крылышками и не двигалась. Осторожно положил её на свою ладонь и медленно открыл окно. На улице тоже было тихо. Дождик кончился. Может быть, это звездопад принёс тебя ко мне? Зачем ты прилетала? Словно в ответ, лёгкий ветерок пошевелил безжизненные крылышки, и первые солнечные лучи пробились сквозь облака...

Рабочий день завершился, настал вечер, затем — ночь... Она так и лежит сейчас там, на подоконнике. А я не знаю, что теперь делать и почему мне так нестерпимо грустно...

И всё-таки жизнь — умнее и добрее нас. И всё было не зря! Наступило утро. Только что, десять минут назад, собираясь на работу, я не удержался и заглянул в ту комнату. Она вся залита утренним солнечным светом. И что я вижу на тёплом подоконнике? Бабочка ожила! Она стоит на тоненьких лапках, обнимая ими оконное стекло, и греется! Я дотронулся до неё: она тут же замахала крылышками быстро-быстро, как раньше. Торжествуя, как мальчишка, я ринулся за вчерашним блюдцем на кухню. Поставил его перед ней... и почти сразу же догадался, что солнечный свет ей нужнее.

Я распахнул окно и легонько направил её к нему. И она улетела! Красивая. Яркая. Живая! Такое сокровище не может принадлежать одному человеку. Она принадлежит всему миру. И весь мир — принадлежит ей...

## Друзья

Когда-то, уже давным-давно, жили в Баку два товарища, два ровесника: Ильяс и Гурген. Ильяс был деревенским азербайджанцем из старинного села на берегу реки Куры, а Гурген родился жителем города, в котором и вырос. После окончания школы Ильяс приехал в Баку и поступил в институт одновременно с Гургеном.

Очень они разные были. Ильяс — молчаливый, сосредоточенный, слова лишнего не вытянешь, говорит тихо, а Гурген — шумный, громкоголосый, юморной, без шутки минуты не проживёт. Но сдружились они как-то сразу, с первого дня, пока экзамены вступительные сдавали. Именно Гурген был первым, кто показал Ильясу самые красивые места приморского города, который знал с детства, что называется, «с закрытыми глазами». И в общежитие их поселили в одну комнату. На студенческую стипендию особо не пошпикуешь, жили скромно, всем, что есть, делились друг с другом: и хлебом, и нитками, если что-то подшить надо было. И с девушками вместе знакомились, и женились почти одновременно. И квартиры от завода в один год получали. И дети у них почти одновременно на свет появились: у Ильяса — сын, у Гургена — дочка. Потом у Ильяса — опять сын. У Гургена — опять дочка. И в третий раз — то же самое.

Приходит Гурген с женой в гости к Ильясу, просит того на гитаре сыграть, тряхнуть студенческой юностью. Ильяс поручает своей жене принести ему ту самую гитару и играет, а Гурген поёт, громко поёт, совсем неправильно, но зато жизнерадостно: «Мы с тобой два берега у одной реки-и-и!» И все смеются, понимая, что пусть и неправильно, но ведь от всей души. Потом, уже без гитары, за столом с чаем и сладостями пели поочерёдно оба. То Ильяс на азербайджанском напевал «Сары гялин», то Гурген по-армянски — «Ов, сирун, сирун». И ещё, и ещё песни вспоминали. Подолгу сидели.



## Радоваться жизни...

Приходит Ильяс в гости к Гургену, просит того шахматы достать. Гурген достаёт шахматную коробку, они расставляют фигуры и начинают партию. А жена Гургена тут же приносит шахматистам ароматный чай в стаканах-армуды. И обязательно — сахарницу с кусочками наколотого щипцами крепкого сахара. Ильяс долго думает над каждым ходом, у Гургена терпения не хватает, он делает ошибку, потом вторую и, наконец, сдаётся, шумно, но как-то по-доброму возмущаясь медлительностью соперника. А тот, довольный такой, смеётся в ответ. Потом они начинают обсуждать нюансы всеоюзного чемпионата по футболу. Один болеет за «Нефтяник», другой — за «Арабат», но за сборную переживают и болеют оба одинаково...

Прошли годы. Наступили странные, тяжкие времена. В городе стало тревожно. Появились беженцы из дальних горных азербайджанских деревень — голодные, жалкие, бесприютные, с детьми, одетые кое-как, некоторые — со следами побоев. Вскоре начались погромы городских армян. Пролилась невинная кровь. Всюду чувствовалось незримое присутствие смерти.

Однажды поздно ночью в квартиру Ильяса кто-то тихо, но настойчиво постучал. «Странно, — насторожился Ильяс. — Звонок же работает. Почему стучат? И почему так тихо?» Жена проснулась и встала, чтобы открыть дверь, но Ильяс решил сделать это сам. За дверью стоял Гурген, бледный как полотно. За его спиной виднелись его плачущая жена в ночной сорочке и наспех накинутой шерстяной шали и три испуганные дочки. Гурген и Ильяс посмотрели друг другу в глаза. Обоим всё было ясно. Ильяс знаком пригласил несчастных в дом. Следующие два месяца пятеро армян жили в семье Ильяса. На улице не выходили. Жена Ильяса готовила им еду вместе с женой Гургена. Ильяс делился с ним всем, что было в доме, так же как они оба делали это в юности, когда жили в общаге.

Эта история закончилась вроде бы благополучно. Гурген и его семья не пострадали, окольными путями им удалось выехать в Ереван. Но Гурген был бакинцем до мозга костей и не смог привыкнуть к новым местам обитания, он очень изменился, перестал шутить, начал часто и серьёзно болеть и однажды не проснулся: может, вспомнил во сне свой Баку, и... сердце остановилось.

Когда Ильясу сообщили об этом, он молча вышел на балкон, закрыл за собой дверь и не выходил несколько часов. Плакал ли он там в одиночестве или просто не мог говорить, об этом никто теперь не узнает. Нет больше Ильяса. Он ушёл вслед за своим другом туда, где уже никто и ничто не помешает их вечной дружбе и любви к той мирной добродушной жизни, о которой когда-то пели они оба на своих родных языках.

Не горластые трубы гудят, не лобастые барабаны трещат, а ползут по занесённой снегом, продутой ветром земле железные вездеходы. И воют надсадно нагруженные моторы. И грохочут неустанно, словно перемалывая смёрзшееся время, стремительные гусеницы.

И пусть вокруг чуть посветлело, но чумазый седой вездеходчик Денис не выключит фар своего «газона» (ГАЗ-71), ибо солнышко не взойдёт над замороженными снегами, не покажется над горизонтом: что впереди, что позади — всюду полярная ночь.

И движутся, движутся упрямые машины, оставляя за собой едва различимые издали, снегом переметаемые колеи — следы будущей зимней дороги. И становятся одна за другой на расстоянии усталого водительского взгляда деревянные вехи со светящимися отражённым светом крашеными вершинками.

Измотанные полусонные люди пересекают всеми тремя вездеходами широкую реку, скрытую льдами и снегом, и останавливаются на узкой прибрежной террасе перед подъёмом. Вокруг — пронизанная ветром сумеречная зона с низкими полупрозрачными облаками, а позади — дотлевающая, словно Денисова сигарета, узкая полоска горизонта: и рассвет, и закат одновременно.

Всю дорогу ветер дул в «спину» вездеходам, и потому весь поднятый гусеницами снег — мелкая пыль — на стёклах. Налип капитально, «дворники» не успевают смахивать. Боковые окна и снаружи, и изнутри покрыты толстым слоем не сдираемого ничем инея. Передние же, обогреваемые водительской печкой, ещё кое-как поддаются. Денис, чертыхаясь, отдирает налипшие и примёрзшие куски.

Спать ложимся вповалку внутри кабины от ГАЗ-66, установленной на «плечах» «газушки». Между правым и левым сиденьями на выдвинутых из них брусках Гамза и Денис раскладывают заранее припасённые лаги. Так места хватает для троих спящих. Двигатель на время сна никто, естественно, не глушит: во-первых, тут же выйдет из строя; во-вторых, даже если б и не выходил из строя, потом его по-любому никакими силами до самого лета не заведёшь.

Просыпаюсь в темноте от лютого мороза, всё ж таки пробравшегося внутрь кабины. Сквозь замороженное заднее окно ничего не видно, но слышно, как кто-то ходит, топчется. Вдруг в кабину начинает идти густой смрадный дым из выхлопной трубы. Дышать невозможно. Глаза открыть — тоже: щиплет чертовски.

Выскакиваю из кабины наружу. Напротив кабины стоит коренастый крепкокулый Эдик Ковалёв, начальник дорожно-строительной группы, и довольно посмеивается. Это он таким образом

будил нас: закрыл руками выхлопную трубу, чтобы газ пошёл внутрь... Гамза с Денисом, кашляя и щурясь, вываливаются из кабины следом за мной.

Только собрались ехать дальше, как у нашей передней машины перестаёт работать самая мощная «искательская» фара. Денис в зачуханных рукавицах пытается найти место обрыва провода. Рукавицы мешают, и тогда он, невзирая на утренние минус пятьдесят два, скидывает их. Начальник с недовольным видом садится в заднюю вторую «газушку» и захлопывает за собой дверцу. Минут через двадцать фара восстановлена, Денис с обломанным ногтем и почерневшими пальцами берётся за рычаги. Взрел мотор. Мы двинулись дальше. И остальные — за нами.

Почему именно эта «газушка» впереди? Потому что мне её вести по навигационному прибору, а Денис уже ходил здесь со мной дважды в прошлые зимы, в отличие от других водителей, которые здесь первый раз, впрочем, так же как и Ковалёв.

Тот уже несколько раз выспрашивал у меня: когда же, наконец, мы доберёмся до скважины номер семьдесят три?

Да, оказывается, он не совсем горит желанием нести с нами тяготы пути. Вернее, совсем не... Он здесь только до семьдесят третьего номера — и ни метром дальше, поскольку, как сам же и сообщает, главный инженер треста дал ему указание возвращаться с этой точки нашего маршрута назад для проезда на другие «особо важные» дороги. Не знаю, был ли он там, но что спустя десять дней в той стороне, куда его якобы срочно отправили, я не заметил ни единого гусеничного следа — факт. А я своим глазам в тундре пока что верю больше, чем чужим словам. Были на то причины. И не раз.

В общем, «свалил» начальничек из доблестного отряда первым. Хотя и просили его проехать ещё всего лишь десять вёрст — не по целине, как здесь, у реки, нет, а по хорошей накатанной нетерпеливыми буровиками дороге, отстроенной ими между рабочими скважинами правого фланга разведочной площади ещё до нашего появления. Там, у другой скважины, в десяти километрах от семьдесят третьего номера, находилась сейчас основная масса техники, горючего и людей.

По-хорошему, можно было бы скоординировать наши действия с ними, договориться о взаимодействии, о взаимопомощи, уточнить, что именно сейчас важнее сделать, кому и для чего: ведь дороге-то мы для этих людей и строим, а не просто так — покататься. Они, по сути, и есть главные заказчики зимника. Их водителям здесь на нём всю зиму работать.

Бесполезно. Глаза в ответ тут же остекленели, а уши не слышат ничего. Мало того, что сам уехал, так ведь уехал-то на вездеходе. И вместо трёх у нас осталось две машины. И ведь ни одного дорожного указателя не догадалось доблестное начальство

изготовить заранее. Вроде — тыфу, мелочь какая. А для кого-то из тех, кто тут по зимнику сквозь пурги да метели будет до поздней весны грузы перевозить, точно погибелью обернуться может. Ладно, авось придумаем что-нибудь. Русский авось — хороший авось, деваться-то некуда. Ну и что, что начальство удрало? Работать-то всё равно надо. А то ж ведь это самое начальство потом не с себя (естественно), а с тех, кто остался, не сбежал с ним, ох как строго спросит, последнюю рубашку сдерёт — не пожалет (глаза-то стеклянные, уши-то просьб не слышат).

Третья машина, шедшая с нами, не наша — подрядчиков. И не «газушка», а гТТ. Вроде посоднее выглядит. Увы, только выглядит. Гнилёе натуральное. Три десятка лет машине. Всё латанное-перелатанное, менянное-переменянное внутри этой гремящей «консервной банки» на гусеницах...

Вешки у нас со второй машины на ходу ставят два молодых, укутанных в тёплое по самые глаза (и правильно, что укутанных) ненца.

Всю дорогу мы впереди, а гТТ постоянно отставливается. Приходится поджидать. Интересная штука с ней происходит. Остановишься, ждёшь второй вездеход, ждёшь, а его нет и нет. Пару раз по три часа ждали. Потом возвращались. И как только наша «газушка» появлялась в пределах видимости того вездехода, как он тут же начал встречное движение. И при встрече с нами дорожный мастер, сидевший в нём, опять бодро объяснял, что они ужасно поломались, долго чинились и только что починились окончательно. Странная тенденция... Очень странная. Похоже, что ни фигу они не ломались, а просто стояли. Пока стоишь — риска ведь никакого нет: другие всё за тебя сделают, а ты потом отважно отпартуешь начальству о выполненном задании и о том соврёшь, как храбро подстраховывал первую машину и, конечно, всегда был наготове немедля вытащить её из любой передраги.

Только нам без вешек идти вперёд никак нельзя. Потому что путь надо размечать для тех, кто придёт потом. А все вешки там, в гТТ.

Один лишь раз — на хорошем участке дороги, отстроенной до нас буровиками, — гТТ вдруг рвануло вперёд с неопишуемой скоростью. «У меня жена на семьдесят третьей поварахой работает!» — донёсся торжествующий удаляющийся голос дорожного мастера. И больше, пока не добрались до поварахи, мы никакого гТТ догнать не смогли.

Нас в «газушке» трое: Денис, Гамза и я. Мы с Денисом впереди, Гамза — в кабине. Он, в качестве техника, помогает Денису в каждом случае, требующем какого-либо ремонта или осмотра технической части нашей «боевой» машины. Кроме того, Гамза замечательно готовит чай на газовой горелке во время остановок на перекус. Вообще,

с ним веселее и Денису, и мне. Гамза и Денис постоянно подтрунивают друг над другом.

Ловлю себя на мысли: вот мы — думаем по-русски, говорим между собой на русском, осваиваем Север России. И, по сути, сейчас все трое мы — русские, абсолютно русские, хотя при этом Денис — фактически молдаванин, а я и Гамза — азербайджанцы. Но мы делаем то, что нужно России, потому что наша дорога помогает осваивать богатства этой страны и по большому счёту верой и правдой служит её народу.

И не дай Бог, чтобы о ком-то из них, делящихся сейчас и здесь, в лютый мороз, посреди неоглядной тундры, поровну с товарищами своими куском хлеба и глотком воды, какой-нибудь юный бездельник в большом светлом городе завопил вслед: «Эй! Черномазые! Понаехали тут!» Я не знаю, не знаю я, что тогда сделаю, но я что-нибудь сделаю обязательно. Ради них, потому что они оба — настоящие. Во всех смыслах этого слова.

В свете фары на мгновение что-то ярко блеснуло впереди: песок! Луч света попал прямо в округлый глаз зверька. И глаз этот сверкнул драгоценным камнем в ночи. Белое пушистое существо заматилось на свету, прячась за кустиками и сугробами. А потом успешно исчезло. Оленей диких нам с Денисом в этот раз не встретилось ни одного, а вот с зайчиком возле тридцать шестой скважины и превеликим множеством снежных куропаток по всему нашему пути нам довелось увидеться. Иной раз куропатки, словно заколдованные, сами летели на наш свет, сворачивая в сторону лишь в последний момент, чуть ли не из-под движущихся гусеничных траков. Впрочем, оказавшихся совсем уж под ними — не было. В этом отношении наша совесть чиста.

Помимо мороза, наши неприятели — глубокие и узкие, как рвы, овраги, способные объявиться в любой момент, и речной лёд, местами вздутый, мутный, с буграми предательских трещин, под которыми могут оказаться пустоты.

Снег цепляется за любые препятствия на ровной поверхности, практически на глазах образуя надувы и сугробы там, где наши следы продавили ровную, почти лишённую снега поверхность тундры.

Петля среди озёрных обрывов, мы приближаемся к тёмным кустам, похожим на «белогвардейские цепи», которые у реки, как в известной песне о том и поётся. Сквозь них приходится продираться вслепую. Я знаю, где мы находимся, но что конкретно предстанет перед нами в следующий миг, я, конечно, знать не могу. Продвижение вслепую длится бесконечно долго, но всё-таки и оно когда-нибудь кончается.

Перед нами широкая, бугристая, ледяная река Нюдаяха. Берег низкий. Зато вдали под фарами виднеется противоположный — обрывистый.

Подходим к нему и начинаем искать место для выезда с реки. К нашему счастью, замечаем небольшую «полочку» среди обрывов и осторожно поднимаемся по ней. В самом верху приходится весьма опасно наклониться вбок (для вездехода всегда безопасней подниматься в лоб, чем идти боком), смять несколько кустов и всё-таки... И всё-таки удаётся выбраться. Теперь впереди нет кустов, практически голое ровное пространство, но там, за ним, через несколько километров, серьёзная река — Мессояха. С ней шутки плохи. Проверено.

И вот снова перед нами выскакивают отдельные кусты, а потом — сплошная их стена. Река. Берег обрывистый. Нам не спуститься. Начинаем разведку вправо. И снова удача! Метров через двести — более-менее пологий спуск, летом, вероятнее всего, песчаный. Коса. По ней съезжаем на реку. И теперь идём левее, напротив того места, где сквозь кусты увидели реку. Кругом крошечная тьма. Полярная ночь долгая, за обычное время не кончается.

Нет выезда с реки. Зато есть какой-то ручей, в неё впадающий. Идём по ручью, больше похожему на длиннющий окоп времён Великой Отечественной войны. Ни влево, ни вправо не вылезти. А вот куропаток вокруг — видимо-невидимо. Так и вылетают из-под нашей машины. Как на птицефабрике. Наконец наша «траншея» сужается настолько, что по ней удаётся подняться вверх. Последние два километра, и мы у цели — металлического репера с названием будущей скважины. Такие реперы я оставлял в тундре прошлым летом, когда размечал места под буровые и вахтовые посёлки при них.

Пройдёт немного времени, и сюда по нашим следам придут люди, доберётся техника, закипит жизнь. Радостно вздыхая, выскакиваю из вездехода и прошу Гамзу сфотографировать репер и меня. Не ради бравады — для дела. Поскольку было время, когда кое-кто из подрядных организаций сомневался в том, что дороги действительно проложены. И только такие вот фотографии, бесстрастно фиксировавшие этот момент, снимали досужие домыслы и подозрения. Оказывается, мало дойти куда-либо — надо ещё уметь доказать, что ты и впрямь был там, где утверждаешь, что был.

Мы торопимся с восточной дороги на западную, которую ещё только предстоит сделать. Идут уже третьи сутки без сна. Товарищи мои устали, но у нас нет времени отдыхать: зимник должен начать работать как можно раньше. Весной, когда вместе со снегом тает и зимник, каждый час его работы — на вес золота. И потому чем раньше пойдут по нему грузы, тем спокойнее будет весной. Пока мы спешим с восточной ветки к развилке на западную, весть о дороге уже впереди нас. Мы видим, как взбодрился народ в буровых посёлках, как засияли глаза у людей. Ещё бы: есть дорога — есть связь с Большой землёй! А это здесь для каждого много значит.

Мелкий снег крутится и сверкает, играет под фарами. Мы уходим с развилки и рвёмся к реке. К той же Мессоухе, которая там, на западе, шире, крупнее, мощнее её же самой в том месте, где мы её уже пересекли. До реки четырнадцать километров... двенадцать... девять... шесть... два. С вездехода во все стороны, как осенние листья, слетают клочья снега. Впереди зеленоватым светом беззвучно полыхают ночные небеса. И кажется, что там, впереди, где всё полыхает в воздухе, действительно — край света. И земля обрывается. И нет уже ничего, кроме бездонного, сияющего изнутри, живого неба!

А мы едем прямо туда! И доходим до края... Распахиваем люки и спрыгиваем из машины в снег, над которым высоко-высоко шевелится, переливаясь, нечто совершенно волшебное. Вот оно — северное полярное сияние!

Мы стоим на краю высоченного обрыва. Внизу сверкает река. Обрыв тянется в обе стороны нескончаемой в длину вертикальной лентой. Красиво, конечно. Но нам нужен выезд к реке. А вот его здесь не предвидится никак. Пытаемся из последних сил найти хоть что-то, хоть какой-то намёк на съезд. На это уходит ещё три часа. Бесплезно.

Остается последнее: вернуться к ближайшей буровой и попросить там бульдозер. Знаю: если есть, не откажут. Денис и Гамза поддерживают идею. Ну что ж, едем назад.

Назад всегда легче идти. Потому что идёшь по следу. А значит, идёшь уверенней. И это расслабляет. Не нужно всматриваться вправо и влево, нужно просто идти по монотонному следу. Но мы измотаны. И всюду ночь. И нестерпимо хочется спать.

Кажется, что след впереди раздваивается, течёт, течёт, расслаивается на ходу. Словно в тёплых волнах. Едешь и покачиваешься, покачиваешься. А на ласковых волнах сияют солнечные арабески, вдали белеют парусники. Ни ветерка. Тишина. Как хорошо, покойно, безмятежно... Чей-то голос чуть слышен. Что-то знакомое. Голос такой знакомый, такой родной. Это же... Да это же доча моя поёт! Ах ты! Что там за слова?

Радоваться жизни самой,  
Радоваться вместе с тобой  
Я не разучусь, если только рядом,  
Рядом будешь ты!..

Ах ты, голубка моя, Ланочка моя, доченька! Где ты сейчас? Где прячешься, пятилетняя моя принцесса? А она всё смеётся и поёт. Ну-ка выходи! Я улыбаюсь и начинаю искать. Может, под столом? Справа? Слева? Я тянусь руками и... дотрагиваюсь до Дениса. Это был сон. Просто сон. Глаза Дениса закрыты, голова мерно покачивается.

Мы едем в вездеходе. Едем под гору. Всё быстрее и быстрее. А водитель спит. И я спал. Куда? Куда

мы едем!!! Там, впереди, огромный овраг! Овраг! Овраг!!! Денис! Не спи!

Он открывает глаза. И тормозит. И тормозит... Мы спасены.

Девочка моя, доченька, кровиночка моя! Как же ты догадалась? Как? Как смогла прийти во сне и спеть самое главное? Именно то, что папе нужно сейчас: «Радоваться жизни самой! Радоваться вместе с тобой!» Ты ждёшь меня, маленькое моё солнышко. Ты не разучишься радоваться, папа тебе обещает. Я обязательно вернусь, доченька. Я же не хочу, чтобы ты разучилась радоваться, кроха моя родная...

— Денис!

— А?!

— У тебя дети есть?

— Есть! У меня уже и внуки есть! Трое пацанов!

— Ты их любишь, Денис?

— Не-а! Не люблю! Я их а-ба-жа-ю! Ты что спрашиваешь? Это же внуки мои — бессмертие моё! Понимаешь?

Я смотрю, как он усиленно трёт глаза грязной от тосола и соляры ладонью, пытается закурить и не может... А мы — едем. Едем.

— Денис! Ты умеешь петь?

— Нет.

— Тогда пой!

— Так я же не умею!

— Всё равно! Главное — пой!

И мы поём, поём всю дорогу, Ланочка. Глупые, смешные дядьки песню поют. Ночью. Далеко-далеко. Среди снегов. В гремящем железном вездеходе. Всю мелодию переверали. «Ра-до-вать-ся жи-з-ни са-мо-о-о-ой! Ра-до-вать-ся вмес-те с та-бо-о-о-ой!!!...»

Мы обязательно вернёмся... Слышите?! Вы слышите нашу песню?

## Лапшин

Памяти главного врача

Красноярского родильного дома №4

Виктора Николаевича Лапшина

Этой ночью снился мне странный сон... Огромные-преогромные ворота посреди неба. Резные, вроде как из наичценнейших пород деревьев: и чёрного, и красного, и коричневого, и белого, и жёлтого — всех цветов и оттенков, какие только бывают. Резьба искусная, тонкая, всё до самых мелких деталей разглядеть можно: тут и виноградные лозы с гроздьями, и львы рычащие, и медведи, и зайчики, и птички поют, и леса широкие, и реки текущие, и горы высокие, дальние, серебристые... Стал я вглядываться — а оно всё живое и есть! Шевелится, дышит, ветрами шумит...

А перед воротами теми облака белоснежные клубятся, и выглядывают из них отовсюду, как

из кустов, малыши-ангелочки. Видно, что много-много их там. Выглянут и снова прячутся.

«Да что ж это делается?! Куда вы поразлетелись, поразбежались-то опять, а?! Ну-ка быстро сюда! Эй, малышня! Хватит копошиться, в кошки-мышки играть, а то я сейчас уже рассержусь!»

Громыкая зычным голосом, прохаживается вдоль врат насупленный здоровенный дядька с широкой стриженной бородой и зорко посматривает на ребятню. Раз! Ухватил одного, который зазевался, приоткрыл врата и подбросил его легонько туда. И полетел малыш, ревя и посверкивая крыльышками, полетел на землю, в новую свою жизнь...

Чей же это голос был? Знакомый же, а вот спросонья не разберу никак.

— Ах вы, курвы такие! И как это вам на ум такое взбрело?! Уволю! Завтра же заявление на стол—и вон из роддома к... матери! Кольца, серги нацепили, косметики килограмм на рожи свои бесстыжие! Это ж родильное отделение, а не бордель! Совсем ума нет!!! Какие вы медработницы?! Бабё натуральное! В родильном отделении всё должно быть стерильно!... вашу мать! Вам же русским языком сказано было!

Разъярённый главврач Лапшин выпроваживает из родильного двух дамочек в халатах. Обе в слезах. Новенькие. А ведь действительно говорил он им обо всём при приёме, предупреждал, но дамы, видимо, решили, что указания местного начальства можно корректировать по своему усмотрению. Ошибочка вышла. У Лапшина с этим строго. Не порезвисься.

Вот он, большой, как самовар, стоит со стаканом горячего чая перед окном в своём кабинете и смачно ругается уже по другому поводу. Лапшин— в матерщине мастер уникальнейший. Как закатит «соловьиную руладу»— залюбуешься разнообразием могучего русского языка. Сколько же в нём нюансов и коленцев неведомых кроется!

Мат я как бы пропускаю, но в остальном смысл произносимого примерно таков:

— Вот же какие девчонки нехорошие, нехорошие совсем, очень нехорошие! Это ж надо! Я их только что в туалете поймал курящими, нехорошие они такие, и выпроводил на нехорошо! Их, нехороших, сюда на сохранение привезли, обем семнадцати нет, вместо мозгов одно нехорошее, а они, глянть, курят стоят за уличными дверями! Нехорошо! Нехорошо, нехорошо! Попростужаются же, нехорошие такие девочки! Какие из них будущие матери? Как они детей растить будут? У обеих на локтях синё, поистыкано уже с такого возраста, да и по глазам нехорошим видно, чем занимались. Вот эта, нехорошая такая, отказную хочет написать на младенчика своего. Ещё не родила,

а уже отказывается, ах, какая же она нехорошая матушка!

Девушки в махровых халатах с большими выпирающими животами тем временем накурились, намёрзлись на осеннем ветру у порога роддома и, разговаривая друг с другом, вальяжно зашли обратно. Им-то не слышно...

В роддоме номер четыре обычного сибирского города, в котором служил врачебную службу главврач Лапшин, пусть было так же бедно, как и везде у бюджетников, но, по крайней мере, чисто и ответственно по отношению к роженицам и малышам.

Здесь невозможны были ситуации, чтобы женщину в предродовой оставили одну, чтобы кому-то сделали кесарево сечение и забыли убрать послед, чтобы шов на матке нечаянно подшили к тканям мочевого пузыря, чтобы кого-то случайно заразили лишаём или чем-то ещё, чтобы родившую вывезли в коридор и оставили там на полдня зимой под открытым окном, чтобы кормящим матерям давали гороховый суп или салат с огурцами, чтобы посетители проходили прямо в палаты в верхней одежде и грязной уличной обуви...

Вроде бы так и должно быть, но если честно, без вранья: всегда ли и везде ли у нас по жизни есть то, что должно быть?

Да, Лапшин матерился, да, устраивал жуткие разносы персоналу, если находил за что. Да, в райздраве он вырывал «своё» для роддома, за каждую бюджетную строку боролся до последнего и потому всегда был «неудобным» для любого начальства. Начальство его, естественно, не любило, но, хотя придраться, чтобы уволить, у нас можно и к забору, Лапшина не увольняли, потому что охочих на его место почему-то всякий раз не находилось. А ещё потому, наверное, что у роддома Лапшина были самые низкие показатели детской смертности и заболеваемости во всём регионе.

Лапшин любил порядок на своём «корабле». Однажды, по какой-то сантехнической причине, поздно вечером сломался душ. Ну как в роддоме без душа? И работники районного ЖКХ, попытавшиеся сопротивляться отговорками про то, что «давайте утром разберёмся», познали на своей шкуре смысл выражения «вальпургиева ночь». Слово за слово, и—Лапшин учинил им драку. В самом прямом смысле. С приездом милиции и прочими разборками. Тут уж все думали, что его уволят...

И случилось-таки два чуда. Первое: к трём часам ночи душ работал как часы. Второе: Лапшина оштрафовали, лишили премий, дали строгий выговор, сделали наипоследнейшее предупреждение, но главное... всё-таки оставили на работе.

А вот он коллег щадил не всегда. Раз довелось ему услышать в операционной, как молодой

ассистент смачно называет кричащего, только что родившегося красного младенца кусочком мяса. Через два часа мрачный, как осенняя туча, Лапшин в своём кабинете нарочито вежливо предложил юноше написать заявление об увольнении по собственному желанию. Никакие извинения приняты не были.

— Молодой человек, нам с вами не по пути, у нас тут есть только люди. Большие и маленькие. А мясо ищете, юноша, в мясных лавках. Мы не сработаемся. Прощайте...

У главврача, который, кроме всего прочего, ещё и сам частенько принимает роды и делает операции, свободного времени не бывает. Но если каким-то чудом оно возникало, то, помимо общения с семьёй, где его с радостью ждали жена, дочка и маленький внучок, любил Лапшин подремать с удочкой где-нибудь на озерке или речке, коих в сибирских краях превеликое множество.

Ну и выпить дома, как всякий русский, он мог, конечно. Иногда. И закусить, естественно. И неплохо закусить, поскольку и жена, и дочка готовили отменно. С годами, к сожалению, стал одолевать лишний вес. Перешёл на диету. Шутил, что вместо ожидаемого похудания живота первым похудело то, что поправилось последним, — лицо. Из спиртного в кабинетном сейфе всегда имелся хороший коньячок. Нет-нет, сам Лапшин на работе никогда не употреблял, исключительно для гостей...

Никто ни разу не видел его плачущим. Лишь однажды, после многочасовой борьбы за жизнь новорождённого, когда врачам пришлось всё-таки отступить, из операционной, громыхая магнами на всю больницу, вышел в коридор усталый Лапшин с ещё не снятой повязкой на лице. Он кричал и грозил неизвестно кому, потрясая немойтой

окровавленной перчаткой... а глаза его над повязкой как-то странно влажно блестели, и такая неизбывная боль в них была, словно ушёл из жизни не маленький безымянный чужой человек, а кто-то очень родной и близкий.

Что могло стать последней истинной причиной его ухода — так и осталось неизвестным: может быть, вся эта дёрганая, взбалмошная, какая-то неправильная жизнь, — но в пятьдесят три года сердце Лапшина остановилось...

Прощание с доктором Лапшиным проходило в огромном зале местного Дворца культуры при громадном стечении народа. Пол возле покойного был покрыт алыми цветами вровень с гробом, в котором лежал вроде он, а вроде уже и не он: черты лица его заострились, и исчезло с них то, что делало его знакомым громыхающим Лапшиным.

Более же всего поражало воображение количество детей, пришедших на прощание со своим первым в жизни Главным Врачом. Их были многие и многие тысячи, их невозможно было сосчитать и даже увидеть всех сразу... Кого-то вели за ручку, кого-то везли в колясках, но были и те, кого просто несли на руках...

— Мама, а кто это такой там лежит?

— Дяденька Лапшин, сынок.

— А зачем мы здесь, мам? Тут так тесно, столько народу...

— Сейчас пойдём, сынок. Попрощаемся с доктором и пойдём, потерпи.

— А он что, уезжает куда-то?

— Да, сына, уезжает...

— И куда? В Африку?

— Дальше, сынок, далеко-далеко, там его ждёт много-много детишек, которым он должен помочь. Он уходит для того, чтобы они появились на свет... и пришли к нам...